

Игорь Шестков "Принцесса"

ПРИНЦЕССА

И сладко жизни быстротечной

Над нами пролетала тень.

Тютчев

По радио объявили, что Бокассу свергли, а меня на картошку от нашей лаборатории послали.

Шеф вызвал к себе полпятого. Сказал: Ты самый молодой и здоровый, вот ты и поедешь завтра в Звенигород. Найдешь пионерлагерь «Юный мичуринец». Там обратишься к Окунькову. Автобусом минут десять от станции. Разберешься. Я пытался на совещании у Ашатура отбазариться, тянул сколько мог, но из ректората бумага пришла железная – от каждой лаборатории двоих сотрудников в колхоз. Я смог второго отбить. Поедешь один. Ничего, недельку свежим воздухом подышишь. Может, новые идеи в голову придут.

Когда шеф кого-то к чему-то принуждал, на его серых угрястых висках наливались кровью волевые жилки, похожие на красные сопротивления. Уши багровели. Глаза яростно выпучивались. Фигура напрягалась, как будто он к прыжку готовился. А складки нижней части его лица и вовсе превращали его в бульдога. Казалось, сейчас он зарычит и вцепится клыками в ногу.

Я не возражал этому агрессивному старому маразматiku. Что толку артачиться – все равно пошлют, если решили. Сам виноват.

В чем виноват?

Да в том. Что не только родился тут, в СССР, в этом собачьем дерьме, но и выучился в их дегенеративной школе, закончил этот сталинский змеюшник – МГУ, и работаю теперь на них в этом долбаном институте, как последняя скотина.

Поконкретнее, пожалуйста. В чем же ты все-таки виноват?

Поконкретнее? Виноват в том, что побоялся даже начать процедуру отъезда.

Лежит дома эта ксива, приглашение, или как оно там называется. Ну, из Израиля. Лежит уже три месяца между книгами спрятанное. А ты даже с женой поговорить не решился. Потому что знаешь, не поедет Нелька никуда. Не может мать бросить. Нелька тут карьеру делать собирается, а ты ей крылья обрезать хочешь. Кому она на Западе со своим филфаковским дипломом нужна? И кому ты там нужен?

И в ОВИР пойти – у тебя никогда смелости не хватит. Ну вот и терпи, терпила. Твои уехавшие одноклассники в Йелях и Калтехах в аспирантурах прохлаждаются, а ты в колхоз поезжай, в гнилой картошке рыться. И не чирикай, тварь дрожащая!

...

На следующий день достал я из антресоли свой походный спальный мешок на гагачьем пуху, который когда-то на три китайских фонарика выменял у одного альпиниста, который через три года на Кавказе на какую-то знаменитую ледяную гору влез, а слезть так и не смог, сел, оледенел и будет там сидеть всегда. Собрал рюкзак, поцеловал спящую жену за ушком и поехал.

До Белорусского вокзала тащился через весь город часа полтора. Потом – еще полтора часа электрички. Прибыл в Звенигород. Автобус на Мятино ходил раз в час. Хотел было в монастырь сходить, к Савве, посмотреть на новые кокошники на Рождественском соборе, но так и не решился. Ждал, ждал... От остановки – еще километр пешкодралом тащился до этого сраного Мичуринца.

Наконец, вошел в ворота... а дальше куда... хрен его знает.

Спросить некого. По особой гнусности архитектуры и плакату (изможденный Мичурин недобро смотрит на наливные яблочки, внизу цитата: Мы не можем ждать милостей от природы...) узнал административное здание. Постучал, подергал за ручки. Входные двери не открываются. Хотел ногой дверь выбить. Но не решился. Замки на дверях еще сталинского времени, надежные. Можно и палец сломать.

Никого... ничего... Ни звука, ни писка.

Может они все сдохли? Вот бы был подарок! Надежды юношей питают, отраду старым подают...

Нашел что-то вроде деревянного крыльца, смахнул пыль, сел на спальник,

подложил рюкзак под спину, задремал.

Часа через два услышал голоса. Пригнанный из Москвы на сбор картошки ученый народ в пыльных ватниках, кряхтя и матюгаясь, возвращался с полей.

Откуда-то возник и Окуньков, гадкий тип с лицом, похожим на картофель.

Нашел меня в свой громадной черной тетради, поставил против моей фамилии галочку, написал рядышком дату и время прибытия в «Юный мичуринец».

Провел меня в пахнущую нестираными носками общую мужскую спальню, человек на тридцать пять. Указал на свободную койку. Сообщил, что душ временно не работает, а ужин с семи до восьми. Объяснил мне, как найти столовку и сортир, где можно взять напрокат ватник, рукавицы и сапоги...

Перед сном, лежа на скрипучей пионерской кровати в теплом спальнике поверх казенного одеяла, слушая мирное похрапывание коллег по несчастью, я испытал даже что-то вроде эйфории.

Этой эйфории заключенного, которому начальство милостиво разрешило поспать от отбоя до подъема, я боялся даже больше собственной трусости и пассивности. Потому что знал, что этим странным чувством дает о себе знать худшее из того, что есть во мне. Во всех нас. То, что бедняга Чехов якобы призывал выдавливать из себя по капле. Потомственное холуйство советского человека.

На следующий день я вышел на работу в составе бригады номер три.

...

Работу мне дали для почина нетрудную, можно даже сказать – женскую. На сортировочной машине. Шесть человек (пять женщин средних лет из соседних лабораторий и я) стояли рядом с движущейся и трясущейся дорожкой, по которой катилась картошка. Задача была – отбраковывать заведомо гнилые картофелины и похожие на картошку камни и комки глины. Женщины работали прилежно и умудрялись еще и болтать без умолку на институтские темы, на меня поглядывали с недоверием. Кокетливо поправляли воротнички своих ватников. Качали плотно укутанными в платки головами. Мазали губы помадой. Я работал спустя рукава.

Через час понял, что работа эта, даже если не утруждать себя особым рвением, вовсе не такая легкая, какой она мне показалась вначале. От грохота и вибрации

болели уши и зубы, руки зудели и слабели с каждой минутой, внутри костей как будто бегали муравьи... много муравьев... ноги подкашивались, спину ломило, отчего все время приходилось переминаясь с ноги на ногу, перед глазами плыла трясущаяся картошка, как поток вопящих грешников в аду.

Через три часа я начал потихоньку сходить с ума.

Закрывал глаза, но все равно видел перед собой эту проклятую картошку.

Которая все ползла и ползла справа налево, тряслась и корчилась...

Боялся, что упаду и меня эта проклятая машина прожует как мясорубка или у меня приступ эпилепсии начнется от сотрясения мозгов.

Полвторого машину выключили и мы лениво побрели в столовую.

После ужасного обеда (серый хлеб, «щи постные», похожая на крупный песок, перемешанный с калом, «перловка с мясом» и мутный компот с «яблоками»), я, с трудом преодолевая икоту, на работу не вышел, а пошел искать протекающую в полукилометре от лагеря Москвареку.

Озирался по сторонам, как зека во время побега. Вдруг этот, картофелемордый, как его, Окуньков, тут слоняется со своей черной тетрадью. Настучит... только приехал и в лес ушел... мне по шапке дадут... будут мурыжить.

Реку я нашел. Окунька по дороге не встретил. Мало того, обнаружил на уступе обрывистого берега удивительно красивую беседку, как будто построенную не советскими людьми, а самим Аристотелем Фиорованте, что ли. Там можно было уютно посидеть на чистой белой лавочке, насладиться видом на речку, помечтать и даже вздремнуть.

...

Проснулся я оттого, что кто-то в беседке громко читал известные стихи: В небе тают облака, И, лучистая на зное, В искрах катится река, Словно...

Словно зеркало стальное, Час от часу жар сильнее, Тень ушла к немым дубровам, И с белеющих полей, Веет запахом медовым... – инстинктивно продолжил я и открыл глаза.

Рядом со мной стояла девушка лет шестнадцати и нюхала воздух породистыми ноздрями. Ее голос звучал как тибетская поющая чаша... Принцесса!

Не хочу тратить время на описание ее внешности. Если вы когда-либо видели картину Борисова-Мусатова «Реквием», то помните наверное девушку в белом

платье с веером в руках. Только у Мусатова она постарше.

Внезапно, я ощутил упомянутый в стихе «жар». Всеми порами.

Жар? Когда я входил в беседку, было прохладно. И сифонило неприятно. Ватник пришлось застегнуть. Помню еще расстроился, когда выяснилось, что двух верхних пуговиц не хватает. А сейчас мне было жарко!

И время дня было другое – полдень. И одет я был не в позорную колхозную рванину, а в элегантный костюм, и обут не в резиновые сапоги с рваными дырками по бокам... а в остроносые бежевые кожаные сапожки.

В правой руке я держал самшитовую тросточку с серебряной рукояткой в форме головы тигра, в левой – обтянутый шелком цилиндр. Над верхней губой росли у меня премерзкие щегольские усики. А в петлице на лацкане пиджака – торчала бутоньерка с лилией. В правом глазу – монокль. А в специальном карманчике – швейцарские золотые часы с цепочкой. Омега. И перочинный ножик.

...

Власть поудивляться и поразмышлять о переменах, произошедших со мной и с окружающим миром мне не позволила девушка в белом платье.

Она подошла ко мне, глянула дерзко мне в глаза, чиркнула кончиком своего носа мне по носу, тряхнула своими чудными кудрями и прошептала страстно: Барон, я хочу вам отдаться! Здесь и сейчас! Возьми, меня, милый, если хочешь – грубо, по-мужицки. Я твоя!

Затем она вульгарно раздвинула бедра и задрала свое длинное платье так, чтобы я мог убедиться в том, что у нее под платьем ничего нет кроме атласной ухоженной кожи и мехового треугольника, перерезанного аккуратными складочками, на которых блестели слюдяные капельки. Задрала и тут же опустила.

Захохотала весело, скакнула несколько раз как молодая козочка и забралась напротив меня на лавку с ногами.

Я упорно не снимал с лица брюзгливую улыбку поручика Ржевского, ковырял тросточкой песок под ногами и поглаживал себе усы.

На вызов надлежало ответить.

– Польщен, польщен! Надеюсь, принцесса, Вы не будете изводить меня позже любовными излияниями, слезами и письмами. Не приклеитесь ко мне, как

банный лист к... И не расскажите все в подробностях вашему папа, братцам и еще половине света. И вообще, тут ведь не французский роман, может быть, вначале хорошенько подумаете... прежде чем совершать необратимое. Тогда возможно позже... если у Вас конечно желание не пропадет... я весь к вашим услугам... Что-то Ваньки нет, пора бы нам подкрепиться... Опять перепутал все небось, мерзавец. Книгочей лапотный... Книжки мои на чердак таскает. И читает ночами Шопенгауэра.

– У меня сейчас есть желание, барон. Сейчас.

И опять – страстный темный взгляд, подергивание кудрями и манипуляции с платьем... на сей раз она обнажила себя сверху и сжала как ножницами небольшую левую грудь между указательным и средним пальцем.

Этого я вынести уже не смог, отбросил трость и цилиндр в сторону, подскочил к ней... уронил монокль...

Во время любви прелестница умудрилась укусить меня до крови, прямо сквозь пиджак и рубашку и несколько раз бешено дернула меня за уши. Смяла мою бутоньерку... да еще и запачкала кровью мои штаны. Действительно, девственница! А я думал, все врут проклятые сплетники. Этот Дюрсо... язык ему вырвать надо. И Марселю тоже. Впрочем, теперь все это уже не имеет никакого значения.

Подождали еще немного Ваньку, но так и не дождались...

Накрылся наш пикник медным тазом.

Прежде чем идти домой, захотели в речке искупаться.

Одежду оставили в беседке, спустились к воде голые по деревянной лесенке и сразу вошли по пояс.

Вода была чудесная. Чистая, прозрачная, сладковатая на вкус. Рыбешки щекотали нам ступни своими губами. Роскошные плакучие ивы стыдливо потряхивали длинными веточками-пальчиками. Белые и лимонные бабочки садились нам на плечи, а потом взлетали и начинали любовную игру.

Изумрудные стрекозы бесстыдно совокуплялись у нас на ладонях.

Ослепительное солнце заражало нас своим мреющим жарким безумием.

Принцесса продекламировала еще одно стихотворение Тютчева (Я помню время золотое...), а затем обвила мое тело ногами и руками...

...

По дороге в имение мы натолкнулись на моего лакея Ваньку. Он преспокойно сидел на лужайке под молодым дубком и жадно пожирал фрукты, ветчину и паштет из воробьиной печёнки, который нам специально для пикника Марчелло приготовил. Корзинка, которую он должен был отнести к нам в беседку, валялась рядом, полупустая. Ел Ванька руками и вытирал их о лопухи. Да так увлекся, что нас и не заметил.

В глазах моей прелестницы я заметил возмущение. Решил преподать лакею урок. Чтобы на всю жизнь запомнил.

Мощным ударом кулака в челюсть я нокаутировал негодяя.

Мы раздели и связали хама его же тряпьем. Положили задом кверху.

Растопырили его ножищи крепкой метровой веткой с развилкой в конце.

Ванька к тому времени уже очнулся, смекнул в чем дело и начал меня увещевать и задабривать.

– Господин барон, Игнатий Павлович, прошу меня простить, дурака и обжору, развяжите, прошу, мне барыни неловко... право нехорошее вы дело задумали... отработаю я вам вашу ветчину и ваши груши, отработаю, будьте уверены. Бога побойтесь, я ведь не скотина какая, чтобы меня пороть...

Я срезал несколько длинных, упругих веточек орешника – на розги. Очистил их от листвы. Подал четыре тонких прутика моей принцессе, сам взял другие, потолще. Размахнулся и саданул Ваньке по голому заду, что было силы в руке. И еще. И еще...

Розги весело распарывали воздух.

И любимая моя от меня не отставала. Порола со знанием дела – с оттягом и поворотом.

Я бил Ваньку по толстому заду и по могучей бугристой спине, а принцесса норовила попасть между ног, по половым органам.

Ванька ревел благим матом...

– Пощадите! Пощадите! Прошу вас, перестаньте. Стыдоба какая! И больно страшно. Христом-Богом прошу...

Минут через десять, я решил, что хватит. Пора развязать парня, да отправить к деревенскому лекарю, пусть промоет ранки водкой, да смажет салом. Через два

дня будет Ванька как новый.

Но принцесса не унималась, хлестала всюду.

Ее было не узнать. Лицо ее покраснелось... пот катился с нее градом... платье сбилось в бесформенный ком.

Принцесса рычала, хрипела, ухала глухо, как филин...

Потом вдруг перестала пороть, схватилась руками за живот, округлила глаза и вскрикнула как в оргазме... Присела на траву.

Я засмеялся, думал конец комедии, но она вскочила и розовой своей ножкой начала бить стонущего парня по его мужицким шарам. Ох, ведьма!

Пришлось мне ее от Ваньки оттаскивать.

Но не тут-то было.

Выдралась она у меня из рук, зашипела страшно, скинула платье и оборотилась зеленым драконом-одноглазом. Вмиг разодрала несчастного Ваньку на кровавые куски и тут же их проглотила, а потом на меня глазом своим яростным черным посмотрела. И пустила из пасти огненный шар...